



**АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ**  
**ЗАВЕЩАНИЕ**  
**АФАНАСИЯ ИВАНОВИЧА**

**Алексей Николаевич Толстой**  
**Завещание**  
**Афанасия Ивановича**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=5317707](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5317707)  
ISBN 978-5-4467-0482-8*

**Аннотация**

«Был праздничный день середины мая. По главной улице областного города под зацветающими акациями двигалась вниз и вверх, куда хватал глаз, непролазная толпа. Все молодые, юношеские, полудетские лица...»

# Алексей Толстой

## ЗАВЕЩАНИЕ

### АФАНАСИЯ ИВАНОВИЧА

Был праздничный день середины мая. По главной улице областного города под зацветающими акациями двигалась вниз и вверх, куда хватал глаз, непролазная толпа. Все молодые, юношеские, полудетские лица. Легонькие платица, стриженные волосы, непокрытые кудри, раскрытые воротники, – смех, толчея у оконных выставок, теснота на скамейках под деревьями, свистки милиционеров, звонки трамваев, и всюду, где тесно, – вихрастые, большеголовые беспризорные мальчишки, как черти вымазанные сажей.

Южное солнце заливало предвечерним зноем улицу и толпу. Город гудел и шумел, как облепленный мухами чан с бродящим вином.

На балконе ресторана, над улицей, окончив обед, сидели двое. Один молчал, облокотясь о балюстраду; его лицо было заслонено лапчатым листом пальмы. Другой разговаривал, – это был круглолицый и жаркоглазый казак с длинным шрамом от сабельного удара на обритой голове.

– Что делается, что делается! – говорил он, глядя вниз. – Народу девать некуда. И все ведь идут рука в руку, в глазах – месяц май. Девчонкам по четырнадцати лет, женских при-

знаков никаких, а уже готова: хоть пчелы по ней ползай... Наш город по этой части первый в Союзе. Не то что культотдел – постовые милиционеры за голову хватаются. Ну, и весна... А поглядеть бы вам, что тут делалось семь лет назад... И немцы побывали, и англичане, и французы. Перевероты, восстания, уличные бои, эвакуации. Видите – на углу телеграфный столб? На нем четыре моих друга на ветру качались. То здесь второй Питер: гуляют генералы, дамы в соболях, тонные юнкера, в кофейнях – бритые морды спекулянтов. А то – тра-та-та-та, пулеметы, и оттуда – сверху – красная кавалерия, – искры из-под копыт...

– Ишь ты! – он перегнулся через балюстраду. – Ну, прямо-таки идут и целуются... Молодость, молодость... Одно в ней плохо – память у ней коротка, помнить ничего не хотят... Гляди, как затрясла кудрями, хохочет... И причина смеха, наверное, самая пустая... А сказать ей: смеешься, касатка, а мы кровью истекали, мы не смеялись... Ей-то что... Вот она, жизнь.

Он постучал по пустой бутылке. Принесли холодного пива. Он жадно выпил полный стакан. Закурил. Изломал, крошил спичку.

– Легко сказать – хозяйственный фронт... Им легко гулять в тоненьких чулочках. Через неделю – акация зацветет, – вот-то будет весело... А тем, кто семь лет с коня не слезал, много сложнее. Поверите, иногда сижу так, гляжу, – и проступают сквозь толпу на асфальте лужи крови. Дурак

тот, кто скажет, что ее дождем смыло. У обезьян памяти нет, так они и кушают друг у друга дерьмо из-под хвоста. Нет... Под каждым этим окошком, – он указал коротким крепким пальцем на витрины универсального магазина, – под каждым зарыт герой. Чудно, а так пришлось. Мне бы в девятнадцатом году сказали, чтобы я вышел в цепь под деникинские пулеметы за лозунг «снижение цен на трикотажи»... Тут же бы этого лозунгщика уложил, дыхнуть не дал... Головой под облака ходили... Вы мне не возражайте, все возражения знаю. И сам скажу еще: революция – это все равно как заряд энергии, вбитый в народ... Не растрата, но именно – миллиард киловатт... И теперь она раскручивается... Костры, зарева потухли, горят шестнадцатисвечевые лампочки... Все правильно, все в порядке... Вешай, боец, шашку на гвоздь... А почему все-таки горечь? Почему жарко, когда вспомнишь былое? Вот я крикну вниз: «Братишки, кто из вас станет за двадцать шагов, я буду стрелять?..»... Не об заклад, а так, на геройство... (Закинув круглое лицо, надув шею, он засмеялся весело.) А мы, случалось, стаивали... Уж, конечно, не из-за того, что жизнь не дорога: жизнь нам тогда, может, еще дороже казалась, – а дороже жизни картинно стать: стреляй, не моргну... Ну, и спирт тут, само собой, имел действие...

Он вдруг перегнулся с балкона и крикнул:

– Афанасий Иванович!

Но за гулом толпы голос его не долетел до того, кого он звал: в толпе двигался кряжистый человек без картуза, русо-

волосый, причесанный на пробор. Он шел с портфелем, тяжело ступая. Коричневый френч его с двумя орденами Красного Знамени был расстегнут. Горбоносое красивое лицо с подстриженными усами казалось лениво-мрачным. Вот кто-то поклонился ему он поднял стальные страшноватые глаза, ответил без улыбки на поклон. Остановился у газетного киоска, и плечи его, казалось, заслонили и продавца, и киоск...

– Э, жалко – не слышит... Знаете, кто такой? Афанасий Иванович. Ну да, сам Афанасий Иванович...

Тогда сидевший за пальмовым листом живо обернулся, чтобы посмотреть на этого легендарного человека... Так было бы, если кому-нибудь вдруг указали на улице: «Смотри-ка, вон с портфелем идет, рябоватый, – так то Степан Тимофеевич Разин...» Купив газету, Афанасий Иванович повернул за угол и скрылся в толпе...

– Служит сейчас в деткомиссии. Сильный человек – командовал Железной дивизией, сам много раз рубился в конных боях, теперь вихрястых чертенят вытаскивает за вихры прямо-таки из-под вагонов, многих прямо-таки спас, в люди вывел... А все-таки не могу привыкнуть: Афанасий Иванович – и с портфелем... Да... А скольких уж и нет среди нас...

Рассказчик на минуту поник головой, перебирая в памяти погибших командиров, убитых товарищей... В вечернем сумраке, спускающемся на город, они прошли перед его взором суровой вереницей...

– Спросите, многие ли помнят товарищей Подтелкова и

Кривошлыкова? А это были несокрушимые революционеры. В самом начале, – не забудьте восемнадцатый год, когда советское дело висело на паутине, у нас на юге в него почти никто и не верил, – подняли они казацкую бедноту. А беднота наша кругом в долгу, как в шелку, у богатых станичников, и этой кабале конца не видно. Многие пошли за ними. Пошумели в станичных советах. Но продержались мы недолго: Ростов заняли немцы, в Новочеркасске станичники посадили атаманом Краснова, блестящего кавалера и личного друга императора Вильгельма. За это обстоятельство ему, главное, и дали пернач. На Кубани победоносно шел Деникин. Коммунары – кто убит, кто сел в подполье, кто бежал на Терек. Остался один председатель ревкома товарищ Подтелков... да с ним секретарь Кривошлыков, да нас, верных казаков, сто сабель. Подтелков повел нас в степи – поднимать станицы, – была надежда, что не все же казачество продало волю за немецкий порядок и генеральскую власть.

Помню, вошли мы – отряд в сто сабель – в станицу Краснокитскую. Казаки, – донес нам разведчик, – все в степи, на работах; по хатам – одни старики, казачки да дети. Сначала, – завидели наш отряд, – стали выбегать из хат кто с косой, кто с вилами... А мы подходим против солнца. Кривошлыкова трясла лихорадка, везли его на тачанке. Входим в станицу. Смотрят на нас дико, молчат. Подтелков, – выдали его фотографию? высокий, худощавый, с длинными усами, – говорит с коня: «Станичники, здравствуйте! Что смот-

рите волками? Свои, чай, не кадеты. Пустите нас на постой. Утром устроим митинг». Старики посовещались, говорят: «Пустим, если заплатишь за постой. Тогда – слезай»... Не понравился мне, помню, один: взъерошенный весь, стоит с пешней, старик, черный лицом, как земля, глядит дико... Мы спешили, убрали коней, пошли по хатам. А еще не совсем темно, и – гляжу – на буграх мелькают всадники. Я подошел к Подтелкову и говорю: «Товарищ, не нравится мне здесь, как бы не вышло чего злого». Он смеется. «Злее смерти ничего не будет, а идти нам некуда, кони устали: если у них здесь засада – все равно в степи догонят».

Выставили охранение. Поужинали. Легли спать. Ну, конечно, в пятом часу, как это у казаков полагается, – стрельба, ночной налет. Я выскочил и – к коню, а коня уж нет, – старик угнал. По улицам бегут наши, пальба, крики. Смотрим – со всех сторон тучи всадников... Несколько станиц собралось брать коммунаров. Кричат: «Сдавайся, не тронем...» И ведут Подтелкова, руки у него скручены за спиной. Мы – пешие, кто без штанов, кто впопыхах без винтовки. Окружили. Начались переговоры, чтобы не драться и нам положить оружие. Я заплакал, отстегнул шашку, бросил. До сих пор горько вспомнить... И подходит ко мне тогда дикий старик: «Я, – говорит, тебя узнал, Семен. Ты из станицы Атаманской, ходишь по батракам, и конь у тебя на войну взятый в долг, у станичника Павленкова, и долга ты ему по сей поры не заплатил, и землишку твою арендует тот же Павленков, а ты у



него денег перебрал столько, что тебе теперь одно остается – красную звезду на лоб...» Старик сказал, значит, да развернется, как ударит меня кулаком в это место, – я зашатался.

Тут нас разбили на партии человек по двадцать и повели из станицы на хутор Пономарев. Кругом – толпища, пешие старики с трудовым оружием, бабы, ребятишки. Нашли лютых врагов!.. Эх!.. У меня кровь шла из носа, и чуть что – я валился, меня шибко не трогали. А других били. Ах, как били! Станичники все пьяные. Тут же крутятся агитаторы, переодетое офицерье казачье. Их в то время много скрывалось по станицам от голубовских расстрелов. Разжигали: «Большевики, мол, донцов всех хотят извести и землю отнять и на Дон согнать мужичье, кацапов из северных губерний...» Сами знаете, – станичнику только помяни об этом: «Так вашу так, собаки, наемники, до хуторов живыми не доведем!» Вылетают конные и начинают полосовать нас нагайками. Некоторых действительно забили еще в степи до смерти. Пыль, вопли, бабы остервенели, визжат... Ужаса такого не видал я ни в одну войну.

На хуторе, на выгоне, – глядим, – поставлена виселица покоем, из тонких жердей, болтаются две веревки. Поблизости человек двадцать из нашего несчастного отряда уже копают ров – могилу. Спины, головы у всех в крови. Сзади станичники торопят их нагайками.

И вырыли-то – аршина не было глубины, – затрещали револьверные выстрелы. Кто копал – все туда легли... Один –

добрый был казак, старый товарищ мой еще по германской войне – закричал: «Братцы, я жив, жив, не убивайте!» – и полез из ямы, – из-под трупов. Подскочили старики, забили его лопатами. И тут выходят двое в офицерских погонах, лица завязаны по самые глаза платками. Берут Подтелкова и Кривошлыкова под руки и рысью тащат их к виселице. Я услышал слова... Никто этих слов не записал... Кривошлыков, – он ниже был ростом, – смело поднял голову и говорит Подтелкову: «Благослови, товарищ, на смерть...» И Подтелков отвечает ему басом, важно: «Иди, брат, спокойно в могилу... Они тоже скоро все пойдут в нее...» Подскочили к ним эти двое, с завязанными мордами, поволокли их к петлям... Рванулся я: «Что вы делаете? Да разве можно?» И тут же нарвался на саблю, – ударил меня станичник... Видите – шрам?.. Очнулся я в могиле, – сверху чуть землей было закидано... Ночью ушел.

Рассказчик замолчал. Далеко над крышами, на бархате южной ночи горели буквы кинематографа. Он долго смотрел на них.

– А что же вы думаете? В прошлом году я был в той станице. Тишь да гладь. Хаты выбелены. Стучит трактор, пытит молотилка. Как говорится, живут по шею в зерне. Ах, думаю, ах, станичники!.. Автомобиль оставил около исполкома, пошел пеший. Хата мне памятна. Захожу. «Здорово, дедушка!» Сидит на лавке тот самый дикий старик, который меня ударил. Вид у него самый почтенный, чистый, – му-

хи не обидит. Ковыряет шилом хомут. Не спеша положил в сторону работу, встал, поклонился: «Здравствуй! Кто ты будешь, садись, будь гостем». Брови опустил, посмотрел еще, пристально, усмехнулся: «Здравствуй, Семен Никифорович, здравствуй! Как живешь?» – «Да ничего, – говорю, – делов много. Вот, мимо ехал, думаю – дай заверну, проведу... Не успел я тебя тогда поблагодарить за хлеб, за соль». Сказал и смеюсь.

«Стар я становлюсь, забывчив, – говорит дед. – Многое бывало за эти года, всего не упомнишь. – Брови совсем надвинул, смотрю – дичинка эта в нем проглянула, но ничего – расправился. – Я вот трех сыновей потерял. Старшего убили в германскую войну. Средний сын ушел к белым, убит в конном бою младшим братом своим, – красным, значит, – третьим моим сыном. Брата он убил под Царицыном, взял коня с седлом и оружие. В письме мне писал: «Теперь, батька, квиты за ваши дела». И его тоже убили позже, где – не упомню...» Так хитро повернул старик наш разговор, что мне смешно стало, а совсем приготовился с ним поспорить. Говорю: «Что же вы, дед, признаете теперь советскую власть?» – «А чего же ее не признавать? Власть наша, своя. Вот на выборах в исполком послал зятя». – «Кто же он – коммунист?» «Да как тебе сказать, – с уклоном. Однолошадный, словом. Бойкий казак». «Так зачем же, – говорю, – вы такое кошмарное дело сделали на хуторе Пономареве?» – «Агитаторы были не те».

Вот пооди, и поспорь с ним. Все-таки угощаться я у него не остался. Личная вражда, конечно, забыта. А нехорошо. Шрам-то, он – вот он, ноет в ненастье. (Он быстро провел ладонью по обриту черепа). Так... Из станицы заехал я на хутор. Но могилы не нашел, – перепахана... Травой заросла... А хотел я рассказать деду, как мы заплатили за «не тех агитаторов»...

От Одессы до Волги прошли огнем. Великие были походы. А кто их опишет? Свидетелей мало осталось. Вон – Афанасий Иванович... Он нас водил. Так он молчит... Знаете, какой силы был человек? Конь под ним стонал в бою. Бывало, белые за сто верст услышат, что Афанасий Иванович идет, и начинают кашлять. В Железной дивизии у него были исключительно добровольцы – партизаны – донцы, кубанцы, терцы, и из Украины, и из Великой России, киргизы, черемисы, военнопленные мадьяры, немцы.

Мирных грабить не позволял. «Победил в поле – все твое, а мирным ты брат...» Бывало, войдем в город, и, конечно, через день, через два – бегут бабенки в штаб дивизии, воют, стервы, больше, чем нужно: у одной поросенка стянули, к другой под подол неаккуратно забрались, третья, дура, полотно на плетне повесила – сперли, конечно, на подвертки. Значит – жалобы мирного населения. Наутро трубачи играют сбор. Выстраивается дивизия. Выезжает перед фронт Афанасий Иванович: на нем всегда коричневая черкеска, шашка в серебре, шапочка-кубанка... Конь... Ах, конь был у

него, вороной, Ворон, – одними ушами танцует... Афанасий Иванович начинает говорить тихим голосом, по фронту так тихо – только слышно, как позванивают удила. «Сколько раз говорил я вам, негодяи: красть и насиловать стыдно красно-му бойцу...» И пошел, и пошел... Говорит и шажком едет вдоль фронта. Голову поднял, глаза без прощения: «Виновные – перед!» И выскакивают перед фронт виновные, белые как бумага. Он спрашивает: «Больше никто за собой ничего не знает?» Молчат... «Ну, ладно, два дня даю сроку. Подумайте, если кто виноват, – время есть. А через два дня не жалейте. Расстреляю перед фронтом...» Подъезжает к виновным, глядит в глаза. И они тут же во всем сознаются... Смотря по человеку: иного под арест, иному руку на шею положит, и тот валится с коня без памяти... Боялись, но – ах, как любили его...

А в бою... Дрогнет наша часть – смотришь, Афанасий Иванович на Вороне тут как тут... И рост у него в бою был вдвое выше. Не то что врагам, самим страшно: как кинется он рубить шашкой – летят головы, валятся кони...

Много было славных дел, а громче не было, как переход через Гадарский перевал. В Грузии в то время были меньшевики, в Баку сидели англичане, в Батуме – турки. На Кавказ и не сунься. Афанасий Иванович повел Железную дивизию прямо через хребет, без дорог, чтобы свалиться меньшевикам на голову... Тут и Наполеон, и Суворов в затылке бы почесали...

Взобрались мы на ледяные вершины и стали спускаться. От движения дивизии поднялся снежный буран. Иные всадники падали в бездонные пропасти. Впереди – Афанасий Иванович на Вороне, закутанный в бурку. Как поползла с гор по снегам наша дивизия, – потянулся сзади кровавый след: спускались на задницах... А Афанасий Иванович не оглядывается – вперед, вперед... Пушки, зарядные ящики, пулеметы спускали на канатах и самокатом, и свалились мы, почти что с неба, к теплому морю, под самый Батум, – турки нас без боя впустили в город.

Прошлой весной заехал я повидаться к Афанасию Ивановичу на хутор. Встречает меня его жена – заплаканная. «Что такое?» Махнула рукой. Подходит работник, берет у меня лошадь, – тоже серьезный. «Нездоров, что ли, Афанасий Иванович?» – «Ночью нынче Ворон пал». – «Как? Сдох Афанасия Ивановича боевой конь?»

Оказывается, шурин Афанасия Ивановича загнал Ворона, после этого не выводил как следует; ночь была холодная, конь застудился, получил воспаление легких. Афанасий Иванович выписал из города трех ветеринарных врачей, сам не спал десять суток. Добрый конь боролся со смертью. Войдет на конюшню Афанасий Иванович, – и Ворон мордой тычет себе в грудь, показывает, где болит. Подходит врач с клистиром, и Ворон сам отворачивает хвост. Десять суток был на ногах, – такой добрый конь, и только нынче ночью лег – почувствовал конец. Афанасий Иванович поцеловал его

морду и ушел. До утра сморкался и писал.

Я пошел в горницу. У стола сидел Афанасий Иванович, глядел в окно на степь. Глаза у него были красные.

«Умер старый боевой товарищ, значит – и мне скоро в могилу... Вот, и он указал на исписанную бумагу, – прочти, и чтобы так все было сделано, как тут я сказал».

Никогда я не видал таким Афанасия Ивановича. Взял написанную его рукой бумагу и прочел: «Ворон! Спи, незабвенный друг и товарищ. Ты пережил много терний на своем славном революционном пути. Ты совершил неслыханный в мире поход от Одессы до Батума. Ты собственными ногами начертил карту революционной территории боев. Ты гордо, молниеносно носил меня в лихие атаки на врагов рабочих. Тебя знают как гордость революционных коней все красные кавалеристы. Тебя знают и враги, которые были настигаемы тобой и гибли от моей руки. Ты спасал мне жизнь. Ты провел красной нитью побед двадцать три тысячи верст за власть пролетарскую. Тебе обязаны славными победами все красные части, мною командуемые. Ты в трудные минуты пехоты и кавалерии в секунду доносил меня и спасал много жизней. И там тебя, среди града пуль и снарядов, холода и голода, берегла судьба. А здесь, среди мирной обстановки, она жестоко тебе изменила. Последнее прощай, верный товарищ! С тобой мои победы, и с тобой тут же я завещаю похоронить себя при моей смерти. Спи спокойно, вечная тебе память...»

Когда я окончил чтение, Афанасий Иванович закрыл гла-

за рукой, и между пальцами потекли слезы.

Ворона он похоронил в плодовом саду, на могиле посадил красивые растения. А теперь, говорят, достал себе жеребенка чистых кровей. Сам кормит его из рук, – готовит под боевое седло.

Рассказчик взглянул на часы, поднялся, еще раз усмехнулся беспечной толпе на тротуаре и, смяв пустую коробку от папирос, бросил на стол:

– Однако пора, – прощайте! А много можно бы порассказать о том, как люди были героями...